
Чалмаев В.А.

Свет мысли и воля Петра в характерах героев романа

Серию сопоставлений и противопоставлений героев романа — Буйносовых и Бровкиных, стрельцов и преображенцев, кузницы Воробьева на Валдае и кукольных городков в Пруссии — можно продолжить самостоятельно. Но важно все время оценивать героев в развитии. В начале своей «карьеры» мужик Иван Артемьевич Бровкин, получив горсть денег от сына, еще напоминает жуликоватого, ловкого хитреца-стяжателя. Он «не умом — заробел поротой задницей», когда царь вдруг приехал сватать его дочь. Но постепенно он изживает вульгарную жадность, становясь добросовестным поставщиком в армию Петра. Украсть легко, послужить России — нравственный подвиг. В романе то и дело сопоставляются картины вялости, нерадивости, покоя — скажем, в начале 2-й книги, когда «неохотно просыпалась Москва... плелись нищие, калеки, уроды, — садиться на паперть» — и ситуации предельной активности, даже вызова судьбе, озорства при штурме шведских крепостей на Неве.

Объяснение эволюции, восхождения многих героев (при частых возвратных движениях к воровству, к эгоизму — даже в Меньшикове), мелькания грозной дубины в руках Петра — в естественном, эпическом движении романа. История постепенно оправдывает крайности деяний Петра. Иная Россия, уже петровская, придет под Полтаву. Иной она пришла второй раз даже под Нарву. И совсем не по воле Случая.

Перед штурмом Нарвы Меньшиков, например, придумал так называемый «машкерадный бой», которым русские выманили из крепости даже осмотрительного шведа генерала Горна. Даже его убедило озорство, ослепило, обмануло, вселило в него запоздалое высокомерие: *«по-козлиному подсказывает на белом коне разнаряженный Меньшиков, нахальнейший из всех русских», «во всей красе, плечо к плечу, как на параде, уставя перед собой ружья... вышли гвардейские роты Шлиппенбаха», «из леса выдвинулись шведские пушки...».* Все дело в том, что изменилось само содержание жестов, действий. Даже комическое действие с переодеванием русских воинов в мундиры шведов Шлиппенбаха освещено явным торжеством дела Петра.

Петр в известном смысле всех заразил энергией деяний, действий, безотлагательных свершений. «Кто всем доволен да не хочет хорошее на лучшее менять, тому — все потерять. Ах, говорит, когда же вы, дьяволы ленивые, это поймете? Загадал мне загадку, — так передает кузнец Кондратий Воробьев беседу с Петром. — *Так-то он всех и мутит...».*

Злые забавы Петра в боярской Москве, когда его шутейное шествие с людьми в шубах из мочальных кулей, в кафтанах с кошачьими хвостами и лапами кажется «пришествием антихриста», тоже становятся понятными в свете признания: «он всех и мутит». Петр действительно «замутит» сознание своего века — вплоть до конца! — великой, достойной России мечтой, правом на державное величие, на стремительное возвышение. Отсюда — такая неистощимая динамика в эволюции его характера, такие разломы в «замутненных» душах и его «птенцов», и его недругов.

Может быть, и все самосожжения старообрядцев, и какие-то внутренние бессильные, тупиковые протесты стрельцов — от скрытого осознания правоты Петра, моральной прежде всего невозможности какого-то спора с ним. Один из стрельцов в момент казни на Лобном месте отодвинул Петра от плахи и сказал: «Отойди, государь, здесь я лягу...» Это и не примирение, но и не осуждение деяний Петра.

Правда, не всех современников Толстой убедил в петровской правоте в 30-е годы. В то время, когда писался роман, «дворянская» или «имперская» тематика была не в чести. Тем более не в моде, были темы православной сущности русской культуры. Значимость, центральность героев истории часто

выводилась только из их бунтарской позиции, классового протеста по отношению к стандартному «царизму». Живший рядом с А.Н. Толстым в пригороде Ленинграда В. Шишков, начавший писать эпопею из эпохи Екатерины II «Емельян Пугачев», искренне признавался Толстому: «...дьявольски умна Екатерина II, а надо, чтобы Пугачев выглядел умнее ее!» Почему же так именно «надо»? Да потому, что неграмотный бунтарь как бы более прав, прозорлив, он, дескать, двигал историю (предысторию) к золотому веку, к реализованной после Октября 1917 года мечте. А Екатерина II, крепостница, правда добившаяся со своими «орлами» (Потемкиным, Румянцевым, Суворовым, Кутузовым) грандиозного державного возвеличения России, как бы задержала приход этого золотого века... на целое столетие?!

А.Н. Толстой не только отговорил Шишкова от идеализации образа народного вождя, он и сам не стал выдвигать на первый план, скажем, клейменого Федьку Умойся Грязью, опустил тему крестьянского восстания Кондратия Булавина (1707–1709).

Речь персонажей романа всегда нацелена на предельно полное осуществление того, что сейчас называют «идентификацией», то есть самоотождествлением читателя с литературными персонажами, с признанием всего вымышленного мира *своим*, конкретно жизненным. Вот Меньшиков признается Петру перед расставанием с пленницей Катериной:

— Жениться, Петр Алексеевич, с моим *худым родством* да на пленной... Не знаю. Сватают мне Арсеньеву Авдотью. Род древний из Золотой Орды. Все-таки *покроет пироги-то мои*.

Он говорит на своем языке о скудной родословной («худом родстве»), о торговле пирогами (эту подробность и надо скрыть, «покрыть» или прикрыть). Царевна Наталья, сестра Петра, выслушав ту же Катерину, скажет о себе: «Нам, царевнам-девкам, сколько ни веселись — одна дорожка в монастырь». Этот язык персонажей одновременно далек от современного читателя и близок ему: он «втягивает» его в тот далекий мир, заставляет и нас думать оборотами речи персонажа, не переставая «поправлять» его, выстраивая свой смысл.

Алексей Толстой, с одной стороны, делает язык многоликим героем романа, вплоть до особого языка пыточных подвалов, языка балагурства, языка старообрядцев, но с другой, постоянно связывает речевые жесты, речевые акты с действием, не позволяет слову стать антикварным, архивным. Язык «старый» — герои молодые: нет коллекционирования древностей, сам русский язык движется за Петром. «Россия в письменах» — так назвал одну из книг Толстого А. Ремизов.